

Нам не спалось. Мы вошли в вагон с желанием отдохнуть. В его призрачных потёмках под говор колёс, под ритмическое колыхание мягких диванов, когда дремотная мысль точно плывёт по волнистому безбрежью,— а случилось так, что мы о чём-то заговорили, о каких-то совсем далёких людях и вещах, и проговорили полночи. Не знаю отчего, но все люди в дороге становятся философами: оторванные от обычного, они точно просыпаются и с удивлением смотрят назад и вперёд, и вспоминают очень далёкое, и грезят о таком же далёком грядущем. Если бы человеческая мысль могла стать образом, то каждый стремительно бегущий поезд окутался бы роем теней, и не слышно бы стало его грохота за тысячами их протяжных и глухих голосов. Для людей в вагоне нет настоящего, проклятого настоящего,

¹ Рассказ впервые напечатан в газете «Неделя» (воскресное приложение к газете «Известия») № 13, 21-27 марта 1965 года, по автографу, хранящемуся в «Архиве А. М. Горького» (Фонд издательства «Знание»). Время написания относят к началу 1900-х годов.

что в тисках держит мысль и в движении руки, — быть может, оттого люди в вагоне и становятся философами.

И мы говорили — о людях, говорили мы и о жизни, о её красоте и богатстве, о глубинах её бездонных, над которыми беззаботно и слепо плавают люди-щепки. Одну поверхность её знают они, и легки, слишком легки, никогда не опускаются на дно. Случается, накроет их земная волна — и на миг откроет им жизнь свои загадочные недра, и ослепит, и напугает, — а потом опять поверхность, опять голубой шатёр, как для уютности называют они небо, опять сонное слепое колыхание, и так до конца — пока не сгниют.

Так долго говорили мы — в призрачных сумерках вагона под тихий звон колёс, не видя друг друга, но чувствуя, как растёт близость и нежная приязнь. Оторванные от обычного, люди в вагоне становятся чутки вечно одиноким сердцем своим и жадно пьют тихую мимолётную ласку — как в засуху цветы пьют дождевую воду.

— Надо спать, — сказал он.

— Пора бы, — ответил я.

Улыбаясь, мы закрыли глаза, а через полчаса, выйдя из купе, стояли в коридорчике и глядели в окно. Вероятно, где-нибудь за облаками стояла луна, и ночь была светла, и снежная муть земли неприметно сливалась с лунной мутью зимнего ночного неба. Под толстым слоем снега сглаживались бугры и неровности, но мы часто проезжали по этой дороге, и всё, что проходило мимо, казалось знакомым и виденным.

— А ведь это неправда, — сказал я. — Мы ничего не видим и не знаем.

Он понял меня и, не отрываясь от окна и только ближе прижавшись своей головой к моей, ответил:

— А кажется знакомым. Глаза обманывают.

— Глаза обманывают. Когда я еду по этой дороге, я постоянно смотрю в окно, и взгляд мой охватывает всё, что до горизонта. И мне кажется, много, а это — только до горизонта. Когда я проеду несколько раз, в памяти моей

останутся кое-какие дома, и станции, и некоторые лица, и лес, и даже отдельные деревья. И мне кажется, что это всё,— а это только некоторые дома, некоторые лица и отдельные деревья. Я знаю здесь одну берёзу. Она стоит у опушки леса, отдельно от других, и имеет такой вид, как будто она выбежала из леса и жадно смотрит в поле. Но если её срубят, я не найду места, где она жила, и, вероятно, даже не вспомню о ней.

— Я знаю эту берёзу. Она как будто кричит.

— Да. А ты помнишь, где стоит она?

— Где-то здесь. Не знаю. Не помню. И давно уже я не видел её.

— Кажется, её срубили.

Прошёл мимо русский зимний лес идохнул на нас холодом, ночью и одиночеством. И снова снежная муть и такое же мутное небо. И оттого, что мы часто ездили по этой дороге, самоё небо казалось знакомым и давно известным, и не верилось, что это новое небо, которого мы никогда не видали. Мелькнул зелёный огонь, какие-то крыши, покрытые снегом, и поезд остановился.

— Станция Белёво,— сказал кондуктор.

Так как поезд всегда стоит здесь пять минут, то мы хорошо знали эту станцию, но почему-то ничего не сказали об этом.

— Белёво? — повторил кто-то сзади нас.— Здесь хорошие пирожки. Я знаю.

И хлопнул дверью. Наш вагон остановился как раз против телеграфа, и сквозь широкое окно видны были работающие люди. Они не знали, что за ними наблюдают, и равнодушно делали своё дело, и было немного похоже на сцену с поднятым занавесом. Один телеграфист, молодой, с усами, был обращён лицом к нам и раз даже встретился со мною взором,— но в глазах его не было выражения. Стекло в большом окне слегка отражало огни станции, и от этого ясно видна была только освещённая часть его лица, а то, что находилось в тени, пропадало — точно не существовало совсем.

— Получше взглядишь в телеграфиста,— сказал мне товарищ.

Я смотрел. Телеграфист всё так же равнодушно работал, потом сказал что-то в сторону, закурил папиросу и встал. Отошёл на один шаг и тотчас же пропал в блестящем стекле. И снова показался, и снова сел за работу. Папироса в зубах, видимо, мешала ему, он морщился освещённой половиной лица и, наконец, положил папиросу на край стола.

И всё. Поезд тронулся, и станция прошла мимо в обратном порядке: фонари, какие-то крыши, покрытые снегом, зелёный огонь — и снова поле, снова снежная муть и такое же мутное небо. Так должны являться призраки: войдёт в одну дверь и уйдёт в другую, а комната всё та же — тот же стол, те же кресла, то же молчаливое мигание свечи. И только в глазах останется бледный, словно тающий, образ, да сердце говорит о чём-то, замирая.

— Вот и Белёво, которое мы знаем,— сказал товарищ.

— А если поехать назад, оно снова явится.

— И снова исчезнет!

— А если в нём остаться?

— Надолго? — спросил он тихо.— Надолго? — повторил он, улыбаясь только мыслью.

И снова мы стояли, прижавшись, и глядели в окна, а за ними по снежному полю точно гнался тот равнодушный телеграфист за блестящим стеклом. Но это казалось. Он был в наших глазах — только в наших глазах.

— У него хорошее лицо,— сказал я, припоминая.

— Он молод. Вероятно, ему лет двадцать пять. И уже лет шесть или семь он работает на телеграфе, на этом телеграфе: что-то привычное и долгое чувствуется в движениях его рук, в выражении его лица, в этой папиросе, положенной на край стола.

— Он не видел нас. Там у них светлее, и он не видел нас.

— Вероятно, он видел только силуэт вагона. Он видит только вагоны и силуэты их. Каждые сутки он дежурит на телеграфе, и мимо него проходят десятки, сотни вагонов. По этой дороге много ездят, и каждые сутки мимо него

проходят в ту и другую сторону тысячи людей. Быть может, уже пол-России прошло — и всё только мимо него. И он ничего не знает о тех, кто прошёл.

— По этой дороге часто ездит Лев Толстой.

— По этой дороге ездит Лев Толстой. Ездят по ней министры, князья, великие художники, писатели и певцы. И уже тысячи глаз равнодушно останавливались на нём, а он так же равнодушно сидел и работал. Кто знает — быть может, на него смотрел Толстой, а он в это время разговаривал с кем-то, курил и жадно затягивался скверным табаком. Он видит только вагоны и силуэты их. Вот на пустые пути из мрака или из солнечного света приходят вагоны, и останавливаются, и стоят так, как будто это на всю жизнь. А через пять минут уходят, и снова пусты молчаливые пути, как будто никогда и никто не стоял здесь. Летом в окнах мелькают лица, а зимою вагоны заперты, заморожены инеем и так глухи, как будто в них нет живого человека. Глухо проходят и глухо, не раскрываясь, уходят, — а он сидит, работает и ничего не знает о тех, кто проехал. Он работает — это значит, он передаёт слова. Пусть как день ясны эти слова для него, они заперты, как вагоны, — он ведь не знает ни тех, кто говорит, ни тех, кто слушает. И мимо него, как вагоны, проходят слова — чья-то радость и чьё-то горе, чьи-то мысли, соображения, приказы. Он только передаёт. И у него есть уши и глаза, а он глух и слеп, как будто не было у него никогда ни слуха, ни зрения.

— У него есть своя жизнь.

— Он живет в Белёве у какой-нибудь мещанки в трёх-оконном домике над оврагом, — если только на миг сойти с протоптанной тропинки, то с головой провалишься в снег. Единственные тёмные пятна перед глазами — кучка золы и застывших помоев да голый корявый ствол ракиты. И его маленькая жаркая комнатка с лежанкой, и на этой лежанке он сидит на праздниках, по утрам, и играет на гитаре. Он любит вышитые русские рубашки, которые ему дарят на именины, мечтает о новой форменной тужурке и лакированных сапогах. Он ещё не пьёт, он молод и мечтателен, и

оттого в комнатке его чисто, платье завешано простынёй и на окне кисейные занавески. И когда он читает какую-нибудь старую разорванную книгу, у которой не хватает страниц, и не подозревает, что эту книгу тоже написал человек, — она существует для него самостоятельно, как корявая ракета, на которую он смотрит, и так же мало вызывает размышлений. Когда ночью он возвращается с дежурства, то очень боится собак, а дома быстро раздевается и, посмотрев на потёртые на пятке носки, засыпает с мыслями о носках и телеграфе. Всё, что совершается в мире великого, громкого, ослепительного, проходит где-то стороною, и он не подозревает и не думает, что автор той разорванной книги — пассажир и вчера проехал, быть может, мимо него. Богатая человеческая душа его — как скрипка Страдивариуса, отданная уличному музыканту: на ней играют дрянные польки, и она никогда не узнает самой себя, своего настоящего голоса, так как тот, кто мог извлечь его, жизнь-артист, жизнь-художник, жизнь — великий музыкант, проходит где-то мимо, и он никогда не узнает о ней. И, пропуская мимо себя глухие, замкнутые вагоны, он проходит и мимо себя самого, такого же замкнутого, такого же глухого и проходящего.

Так сказал мой товарищ и задумался, и щека его, прижавшаяся к моей, похолодела.

— Но, быть может, он вовсе не такой, и ты всё это выдумал.

— Быть может. Ведь мы проехали только мимо.

Вагон покачивался, и проплывали снежные поля. Они казались знакомыми и обманывали: я никогда не видал этих полей! Рядом со мною стоял он, и щека его прикасалась к моей щеке, и он обманывал меня этим прикосновением: я не знаю его! Завтра мы расстанемся, и образ его останется только в моих глазах, а мимо меня пойдут другие люди, — и я пойду мимо других людей. Быть может, мимо себя.